

Проанализировав вещи в их объективной (расстановка и «среда») и субъективной (коллекция) систематизации, следует теперь рассмотреть поле их коннотаций, то есть их идеологического значения.

### «ТЕХНИЧЕСКАЯ» КОННОТАЦИЯ: АВТОМАТИКА

Если формальная коннотация может быть резюмирована понятием *моды*<sup>1</sup>, то коннотация «техническая» может быть сформулирована одним словом *автоматика* — в нем заключено основное понятие торжествующего механицизма и мифологический идеал современной вещи. Автоматика означает, что вещь в своей частной функции приобретает коннотацию абсолюта<sup>2</sup>. Поэтому автоматика всюду выдвигается и воспринимается как *модель всей техники*.

То, как через психическую схему автоматике мы невольно приходим к «технической» коннотации, можно проиллюстрировать примером из книги Ж.Симондона (цит. соч., с. 26). С устранением необходимости заводить автомобильный мотор с помощью рукоятки механическое функционирование машины делается, со строго технологической точ-

<sup>1</sup>В данном пункте отсылаем к нашему анализу риторики форм («Смысловые элементы «среды»: формы»), а в плане социологическом — к главе «Модели и серии».

<sup>2</sup>Так, в плане форм «крыло» автомобиля через наглядность своей формы коннотирует абсолют скорости.

ки зрения, менее простым, ставится в зависимость от применения электроэнергии, черпаемой из внешнего по отношению к системе аккумулятора; то есть технически здесь имеет место усложнение, абстрагирование, но представляется оно как прогресс и знак современности. Автомобили с заводной рукояткой старомодны, автомобили без рукоятки — современные, поскольку они обладают коннотацией автоматике, фактически маскирующей их структурную слабость. Разумеется, можно сказать, что устранение заводной рукоятки имеет своей не менее реальной функцией удовлетворить стремлению к автоматике. Тогда и утяжеляющие машину хромированные украшения и гигантские крылья имеют своей целью удовлетворить императиву престижа. Ясно, однако, что такие вторичные функции осуществляются за счет конкретной структуры технического изделия. В то время как и в двигателе и в очертаниях автомобиля сохраняется множество внеструктурных элементов, его конструкторы выставляют как признак технического совершенства избыточное применение автоматике в разного рода аксессуарах или же систематическое использование сервоприводов (основной эффект которых заключается в том, что мотор становится менее надежным, более дорогим, быстрее изнашивается и требует замены).

### «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ» ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬ

Итак, степень совершенства той или иной машины постоянно выставляется как прямо пропорциональная степени ее автоматизации. Но, чтобы автоматизировать машину, приходится отказываться от многих ее рабочих возможностей. Чтобы практическая вещь стала автоматической, приходится *делать ее стереотипной по функции* и менее надежной. Автоматика сама по себе отнюдь не означает высокой техничности — наоборот, в ней всегда кроется риск технологического застоя; ведь в той мере, в какой вещь не автоматизирована, она поддается переделке, включению в более широкий функциональный комплекс. Как только она

станет автоматической, ее функция обретет совершенство, но и закрытость, несовместимость ни с какой другой. Таким образом, автоматизация — это определенная замкнутость, функциональное излишество, выталкивающее человека в положение безответственного зрителя. Перед нами — мечта о всецело покоренном мире, о формально безупречной технике, обслуживающей инертно-мечтательное человечество.

Современная технологическая мысль опровергает такую тенденцию: подлинное совершенство машин, повышающее степень их техничности, то есть их подлинная «функциональность», связаны не с повышенным автоматизмом, а с наличием некоторого зазора неопределенности, что делает машину восприимчивой к информации извне. Высокотехническая машина — это открытая структура, и, взятые как целое, такие открытые машины предполагают наличие человека, своего живого организатора и интерпретатора. Но если на уровне высокой технологии указанная тенденция опровергается, то на практике именно она по-прежнему ориентирует вещи в сторону опасной абстрактности. Автоматика здесь безраздельно господствует, и ее фасцинация так сильна именно потому, что не носит рационально-технического характера: в ней мы переживаем как бы некоторое бессознательное желание, как бы *воображаемую суть предмета*, по сравнению с которой его структура и конкретная функция нам достаточно безразличны. Ведь наше фундаментальное, постоянное пожелание — в том, чтобы все «работало само собой», чтобы каждая вещь, наделенная волшебным совершенством, выполняла предназначенную ей функцию при минимальных усилиях с нашей стороны. Пользование автоматическим изделием сулит сладостную возможность как бы по волшебству отсутствовать в его работе, видеть его, не будучи видимым самому; это удовольствие эзотеризма, обретаемое прямо в повседневном быту. Тем, что каждая автоматизированная вещь навязывает нам, и порой необратимо, стереотипное поведение, никак не подрывается ее непосредственный императив — изначальное стремление

к автоматике. Это желание предшествует объективной практике и имеет настолько глубокие корни, что связанный с ним миф формального совершенства создает почти материальную преграду на пути открытого структурирования наших технических средств и потребностей, — а все потому, что коренится оно в самих вещах как наш собственный образ<sup>1</sup>.

Поскольку автоматизированная вещь «работает сама собой», то она внушает нам аналогию с самодеятельным человеческим индивидом, и эта фасцинация непреодолимо сильна. Мы вновь встречаемся здесь с антропоморфизмом. Раньше на орудиях труда, на мебели, на самом доме, на их устройстве и применении лежал четкий отпечаток человеческого образа и присутствия<sup>2</sup>. На уровне сложного технического изделия такая тесная связь расторгается, но на ее место приходит новая символика — символика уже не первичных, а сверхструктурных функций; на автоматизированные изделия проецируются уже не жесты, энергия, потребности, телесный образ человека, но самостоятельность его сознания, его способность контроля, его индивидуальность, его понятие о себе.

Автоматика, в сущности, выступает как вещественный эквивалент такой сверхфункциональности сознания. Она тоже представляет себя как *pes plus ultra* вещи, как нечто запредельное ее функции, как нечто превосходящее человеческую личность.

В ней тоже формальной абстракцией маскируются структурные слабости, механизмы самозащиты, влияние внешних факторов. Таким образом, вещи тоже одержимы главной

<sup>1</sup>Конечно, это наталкивается и на известное психологическое сопротивление: так, «героически» персонализированное вождение машины не может примириться с автоматическим переключением скоростей. Но подобный «личностный» героизм обречен волей-неволей исчезнуть.

<sup>2</sup>Это еще касается даже и механических вещей: так, автомобиль, в своей функции транспортного средства, по-прежнему сохраняет в себе образ человека. В выборе своих очертаний, форм, внутреннего устройства, способа движения и горючего он уже не раз отвергал те или иные структурные возможности, повинувшись морфологическим, поведенческим и психологическим императивам человека.

мечтой человеческой субъективности — о том, чтобы сделаться совершенно-автономной монадой. Сегодня, избавившись от всякого наивного анимизма и от всяких слишком человеческих значений, вещь черпает элементы своей новой мифологии в своем собственном техническом существовании (на техническое изделие проецируется абсолютная формальная автономия индивидуального сознания); и один из путей, по которым она идет, — путь автоматизации — по-прежнему связан с коннотативным обозначением человека, его формальной сущности и его бессознательных желаний, чем неизменно, а то и непоправимо подрывается ее конкретно-структурная целесообразность, ее способность «изменять жизнь».

В свою очередь, человек, делая автоматизированными и многофункциональными свои вещи, вместо того чтобы стремиться к гибкому и открытому структурированию своей деятельности, невольно демонстрирует тем самым, какое значение получает он сам в техническом обществе — значение универсальной чудо-вещи, образцового орудия.

В этом смысле автоматика и персонализация вещей отнюдь не противоречат друг другу. Автоматика — это просто мечта о персонализации, осуществленная на уровне вещи. Эта высшая, совершенная форма той несущественности, той маргинальной дифференциации, через посредство которых функционирует персонализированное отношение человека к своим вещам<sup>1</sup>.

## ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ: ГАДЖЕТ

Автоматика сама по себе есть лишь отклонение в развитии техники, но через нее открывается целый мир функционалистского бреда — иными словами, огромное поле изделий, в которых господствуют иррациональная услож-

<sup>1</sup>О персонализации см. ниже, в главе «Модели и серии». Помимо прочего, автоматизация во многом обусловлена еще и мотивациями моды и расчетами производителей: достаточно даже самой мелкой дополнительной автоматизации какой-нибудь вещи, чтобы сразу сделать устаревшими целые классы других изделий.

ненность, обсессивная тяга к деталям, технический эксцентризизм и бесцельный формализм. В такой поли-, пара-, гипер- и метафункциональной зоне вещь далеко отходит от своей объективной обусловленности и всецело поглощается сферой воображаемого. В автоматике иррационально проецировался образ человеческого сознания, тогда как в этом «шизофункциональном» мире запечатлеваются одни лишь обсессии. По этому поводу можно было бы написать целую «патафизику» вещи — науку о воображаемых технических решениях.

Рассмотрим окружающие нас вещи с точки зрения того, что в них структурно, а что неструктурно. Что в них — техническое устройство, а что — аксессуар, техническая игрушка, чисто формальный признак? Окажется, что неотехническая среда, в которой мы живем, в высшей степени насыщена риторикой и аллегорией. И не случайно именно барокко, с его пристрастием к аллегории, с его новым дискурсивным индивидуализмом (избыточность форм и поддельные материалы), с его демиургическим формализмом, — именно барокко открывает собой современную эпоху, в художественном плане сочетая в себе все мотивы и мифы технической эры, в том числе и доведенный до предела формализм детали и движения.

На этом уровне техническое равновесие вещи нарушается: в ней развивается слишком много вспомогательных функций, где вещь подчиняется уже одной лишь необходимости функционировать как таковой; это предрассудок функциональности: для любого действия есть или должна быть какая-то вещь — если ее нет, ее надо выдумать. Отсюда конкурсы самоделок Лепина, когда без всяких нововведений, одним лишь комбинированием технических стереотипов создаются вещи с чрезвычайно специфическими и абсолютно бесполезными функциями. Функция, на которую они нацелены, настолько узка, что превращается в условный предлог: фактически эти вещи субъективно функциональны, то есть обсессивны. К тому же приводит и обратный, «эстетический» жест, когда красота чистой механики превозносится помимо всякой функции. Действительно, для участников конкурсов Лепина очистка яиц

от скорлупы с помощью солнечной энергии или какая-нибудь другая столь же нелепая задача представляют собой лишь алиби для обсессивных манипуляций и созерцаний. Эта обсессия, как, впрочем, и всякая иная, может обрести свое поэтическое достоинство, которое более или менее ощущается нами в машинах Пикабия, механизмах Тенгли, даже в зубчатых колесиках обыкновенных старых часов или же в вещах, чье назначение забылось, оставив по себе лишь волнуемо-фасцинирующий эффект механизма. То, что ни для чего не годится, всегда может пригодиться *нам*.

### ПСЕВДОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: «ШТУКОВИНА»

Такой функционализм на холостом ходу описывается словом «штуковина». Всякая «штуковина» обладает способностью что-то делать. Но если машина (*machine*) открыто заявляет о своей функции, то «штуковина» (*machin*) остается неопределенным членом функциональной парадигмы, да еще и с пренебрежительным оттенком «безымянности» и «неудобоназываемости» (аморальна та вещь, которая неизвестно для чего служит). И тем не менее она функционирует. «Штуковина» — это зыбкий пробел в функциональном мире, вещь, оторванная от своей функции, в ней подразумевается размытая, ничем не ограниченная функциональность, то есть скорее психический образ воображаемой функциональности.

Невозможно как-то упорядочить все поле этой обсессивной многофункциональности: оно простирается от «вистамбуара» Марселя Эме, о котором никто ничего не знает, кроме того, что он точно для чего-то там служит, до игры в «вещь» на «Радио-Люксембург», когда тысячи слушателей бесчисленными вопросами подыскивают имя для какого-нибудь ничтожного предмета («нержавеющая пластинка из специального сплава, установленная внутри тромбона без вентиля и служащая для того, чтобы...», и т.д.), от домашних поделок по выходным дням до супергаджета а-ля Джеймс Бонд; здесь перед нами разворачивается целый музей волшебных принадлежностей, который в итоге выливается в грандиоз-

ные промышленные мощности для производства вещей и «гаджетов», бытовых «штуковин», по своей маниакальной специализации ничем не уступающих доброй старой фантазии домашних умельцев. Действительно, что такое машина для мытья посуды с помощью ультразвука, удаляющего грязь без соприкосновения с ней, или же тостер, допускающий девять разных степеней обжаренности хлеба, или же механическая ложка для сбивания коктейлей? Что прежде было лишь милой причудой и индивидуальным неврозом, ныне, на серийно-индустриальной стадии, становится непрерывной деструктуриацией бытового сознания, смятенного или же взвинченного обилием деталей.

Задумавшись о том, что именно может быть обозначено как «штуковина», впору устрашиться, как много вещей попадают под это пустое понятие. Можно заметить, что чем больше становится этих бытовых мелочей, тем огромнее делается и наш дефицит понятий; наш язык далеко отстает от обновляющихся структур и сочленений тех функциональных вещей, которыми мы столь привычно пользуемся. В нашей цивилизации все больше и больше вещей и все меньше и меньше терминов для их обозначения. В то время как «машина», включившись в сферу общественного труда, сделалась точным родовым термином (каковым она была не всегда — еще в конце XVIII века это слово имело современный смысл «штуковины»), «штуковина» покрывает собой все то, что в силу крайней специализации, не отвечая никакому коллективному императиву, не поддается и наименованию, проваливаясь в сферу мифа. «Машина» относится к системе функционального «языка-кода», «штуковина» же — к субъективной области «речи». Излишне объяснять, что в цивилизации, где становится все больше безымянных вещей (или же именуемых с трудом, посредством неологизмов и парафраз), люди гораздо менее устойчивы против мифологии, чем в такой цивилизации, где все вещи знакомы и именованы вплоть до своих деталей. По словам Ж. Фридмана, мы живем в мире «воскресных водителей» — людей, которые никогда не заглядывали в мотор своей машины *и для которых в функционировании вещи заключена ее не просто функция, но и тайна.*

Приняв, таким образом, что наше окружение, а следовательно, и наше бытовое мировидение в значительной части слагаются из функциональных симулякров, следует задать вопрос о том, в каких верованиях этот дефицит понятий находит себе продолжение и компенсацию. В чем заключается эта функциональная тайна вещей? — в смутной, но стойкой obsesии мира-машины, мировой механики. Машина и «штуковина» взаимно исключают друг друга. Дело не в том, что машина — совершенная форма, а «штуковина» — форма вырожденная; это просто разнопорядковые величины. Машина — это реальный операторный предмет, «штуковина» же — воображаемый. Машиной обозначается и структурируется тот или иной комплекс практической реальности, «штуковиной» же — лишь чисто формальная операция, зато операция над миром *в целом*. «Штуковина» бессильна в плане реальности<sup>1</sup>, зато всеильна в плане воображаемого. Какая-нибудь электрическая машинка для извлечения косточек из фруктов или же новейшая пылесосная щетка, чтобы чистить крыши шкафов, по сути, быть может, не очень-то практичны, зато удовлетворяют нашей вере, что для каждой потребности имеется возможность механизации, что любая практическая (и даже психологическая) трудность может быть предусмотрена, предупреждена и заранее разрешена с помощью некоторого технического устройства, рационального и абсолютно приспособленного; к чему именно приспособленного — неважно. Главное, чтобы мир изначально выступал как объект «оперирования». Таким образом, фактически означаемым «штуковины» является не косточка сливы и не крыша шкафа, но вся природа в целом, открытая вновь согласно техническому принципу реальности; это целостный симулякр природы-автомата. Вот в чем ее миф и ее тайна. Как и во всякой мифологии, здесь есть две стороны: мистифицируя человека, погружая его в грезу о функциональности, эта мифология одновременно мистифицирует и вещь, погружая

<sup>1</sup> Но некоторый минимум реально-практической применимости все-таки требуется, как алиби для проекции воображаемого.

ее в сферу действия иррациональных факторов человеческой психики. Человеческое, слишком человеческое и Функциональное, слишком функциональное действуют в тесном сообщничестве: когда мир людей оказывается проникнут технической целесообразностью, то при этом и сама техника обязательно оказывается проникнута целесообразностью человеческой — на благо и во зло. Мы более восприимчивы к нарушению человеческих отношений из-за абсурдно-тоталитарного вторжения в них техники, зато менее восприимчивы к нарушению технической эволюции из-за абсурдно-тоталитарного вторжения в нее человеческих факторов. Между тем именно в силу иррациональных фантазмов человека за каждой машиной вырастает «штуковина», иначе говоря за любой конкретно-функциональной практикой появляется фантазм функциональности.

По-настоящему функциональной «штуковина» оказывается в области бессознательного; этим она нас и привораживает. Она абсолютно функциональна, абсолютно приспособлена — но к чему? А дело в том, что приспособлена она к некоему иному, непрактическому императиву. Миф о волшебной функциональности *мира* соотносится с фантазмом волшебной функциональности *тела*. Образ технической сделанности мира связана с образом сексуальной завершенности субъекта; в этом смысле «штуковина» как высшая форма орудия по сути представляет собой замену фаллоса как высшей формы операторного средства. Вообще, любая вещь — в какой-то мере «штуковина»; в той мере в какой скрадывается ее практическая инструментальность, она может быть наполнена инструментальностью либидинозной. Так происходит уже с игрушкой у ребенка, с каким-нибудь камнем или деревяшкой у «первобытного» человека, с простейшей шариковой ручкой, которая становится фетишем в глазах «нецивилизованного» дикаря, но также и с любой ни для чего не служащей механикой или же старинной вещью у человека «цивилизованного».

В любой вещи принцип реальности всегда может быть вынесен за скобки. *Стоит вещи утратить свое конкретно-практическое применение, как она переносится в сферу пси-*

хической практики. То есть, проще говоря, за каждой реальной вещью стоит вещь как предмет грезы.

Мы уже видели это в связи со старинными вещами. Но их преодоление, психическое абстрагирование были связаны скорее с их материалом и формой, с инволютивным комплексом рождения, тогда как в вещах псевдофункциональных, «штуковинах», происходит абстрактное самопреодоление *функционирования*, и тем самым они связаны с проективно-фаллическим комплексом могущества. Еще раз повторяем, что это чисто аналитическое разграничение, потому что вещи лишь в реальности обладают обычно одной четкой функцией, в психике же нашей их функциональность безгранична, в них могут найти себе место любые фантазмы. Однако в связанном с ними воображаемом намечается некая эволюция — переход от анимической к энергетической структуре. Традиционные вещи были по преимуществу свидетелями нашего *присутствия*, статичными символами наших телесных органов. Фасцинация технических предметов — иного рода, они отсылают к некоторой виртуальной *энергии*, и в этом смысле не столько содержат в себе наше присутствие, сколько несут в себе наш динамический образ. Впрочем, и здесь требуется учитывать различные нюансы, так как в современной технике сама энергетика становится скрытой, а форма изделий — обтекаемо-эллиптической. В мире коммуникаций и информации энергия редко выставляет себя напоказ. Миниатюризация вещей и сокращение жестов делают менее наглядной символику<sup>1</sup>. Но это не беда: если вещи порой и ускользают от практического контроля со стороны человека, то от его воображаемого им не уйти никогда. *Характер воображаемого следует за характером технической эволюции*, и в будущем новый характер технической действительности также вызовет к жизни новый тип воображаемого. Его облик пока еще нелегко разглядеть, но возможно, что на смену анимистским и энергетическим структурам воображаемого придет новый объект изучения

<sup>1</sup>В таком мире миниатюрных, бесшумных, непосредственных и безупречных устройств большой, наглядно зримой вещью остается автомобиль, в котором живо ощущается присутствие двигателя и процесс вождения.

— кибернетические структуры воображаемого, где центральным мифом будет не миф об абсолютной органичности или абсолютной функциональности, а миф об абсолютной соотносительности мира. Сегодня наша бытовая обстановка еще разделена, в неравных пропорциях, на эти три сектора. Старинный буфет, автомобиль и магнитофон уживаются вместе в быту одной и той же семьи; а между тем они радикально различаются по своему способу воображаемого существования, равно как и по способу существования технического.

В любом случае, как бы ни функционировала вещь, мы переживаем это как *свое* функционирование. Как бы она ни действовала, мы проецируем себя в эту действительность, пусть даже она и абсурдна, как в случае «штуковины». И даже особенно — если она абсурдна. На этот счет имеется знаменитая, магическая и комическая одновременно, формула: «это всегда может пригодиться»; хотя вещь иногда и служит для чего-то определенного, еще чаще она глубинным образом служит ни для чего и для всего сразу — именно для того, чтобы она «всегда могла пригодиться».

## МЕТАФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: РОБОТ

Предельным случаем такого воображаемого проецирования являются предметы-грезы научной фантастики, где царствует «штуковина» в чистом виде. Не следует думать, будто здесь мы выходим за пределы повседневной жизни; в своей вольной сюжетной игре фантастика всего лишь экстраполирует иррациональные тенденции этой жизни. Не обладая никакой пророческой ценностью, она зато составляет ценнейшее свидетельство о нашей цивилизации, подчеркивая некоторые свойственные ей аспекты вещей. Она практически ничего общего не имеет с реальным будущим технической эволюции: по отношению к нему она составляет, так сказать, лишь «предбудущее», питаясь волшебными архаизмами из репертуара уже имеющихся форм и функций. В ней мало структурной изобретательности, зато неисчерпаемо много воображаемых решений для удовлетворения стереотипных по-

требностей и функций, зачастую маргинальных и невразумительных. По сути, это апофеоз вещей-самоделок. Но при всей своей реально-познавательной скудости она представляет собой богатейший источник данных о том, что касается бессознательного.

В частности, в ней иллюстрируется уже рассмотренный нами глубочайший и в то же время, быть может, иррациональнейший императив современной вещи — автоматика. Собственно, фантастика изобрела одну-единственную сверхвещь — *робота*. Человеку больше нет нужды даже косить по воскресеньям траву у себя на лужайке: косилка сама собой придет в движение и сама остановится. Быть может, иной судьбы вещам и не дано? Предначертанный им здесь путь неуклонного совершенствования своей функции вплоть до полной автоматизации (и даже — кто знает — вплоть до вполне «спонтанного» самозарождения по образцу живых существ, когда кофемолки будут, как в детском воображении, производить маленькие кофемолки)<sup>1</sup> не столько связан с будущей техникой человека, сколько обусловлен его современной психологией. Таким образом, миф о роботе вбирает в себя все пути бессознательного в сфере вещей. Это символический микрокосм человека и мира, подменяющий собой как человека, так и мир. Это синтез абсолютной функциональности и абсолютного антропоморфизма. Его предтечу уже являет собой кухонный комбайн («робот-Мари»). В силу этого робот по сути представляет собой мифологическое завершение наивной фазы воображаемого, когда осуществляется проецирование непрерывно-вещной функциональности. Действительно, подмена должна быть наглядной. Своим металлическим корпусом, резко

<sup>1</sup>Здесь проходит рубеж: машина, способная изготовить идентичную себе машину, технологически немислима. То был бы, разумеется, верх автономии, а ее дискурс всегда заканчивается тавтологией. Но наше воображаемое не может до этого дойти, разве что ценой магически-инфантильной регрессии до стадии автоматического удвоения (вегетативного размножения). Кроме того, подобная машина была бы и верхом абсурда: ее единственной функцией было бы самовоспроизводство — как же ей при этом еще и горох лущить? Для человека размножение именно что не составляет единственную функцию. Наше воображаемое не безумно — оно все время поддерживает дистанцию между человеком и его двойником.

отрывистыми, нечеловеческими движениями робот ясно показывает, что он представляет собой механический протез, но этим лишь вернее нас fasciniрует. Если бы его двойничество с человеком доходило до плавности жестов, он вызывал бы страх. Его дело — служить символом всецело функционализированного и одновременно персонализированного мира, то есть символом во всех отношениях ободрающим, в предельной мере воплощающим абстрактную силу человека, но не впадающим при этом в тождество с ним<sup>1</sup>.

Для бессознательного робот представляет собой идеальный предмет, вбирающий в себя все прочие, — но не просто потому, что это симулякр человека в его функциональной действительности, а потому, что, уподобляясь человеку, он уподобляется ему не настолько совершенно, чтобы стать его двойником; он хотя и человек, но при этом явно остается вещью, то есть *рабом*. В глубине своей робот — всегда раб. Он может обладать любыми достоинствами, кроме одного, составляющего суверенную принадлежность человека, — пола. Именно в этих пределах обретает он свою fasciniрующую силу и символическую значимость. Своей многофункциональностью он свидетельствует о фаллическом всевластии человека над миром, но одновременно, будучи контролируемым, подвластным, управляемым и бесполом, свидетельствует и о том, что фаллос здесь порабощен, что сексуальность приручена и не вызывает более страха; от нее осталась лишь послушная функциональность, воплощенная (если можно так выразиться) в похожей на меня вещи, покоряющей весь мир, но покорной мне; наложив заклятие на эту угрожающую часть себя самого, я теперь могу ею гордиться, как всемогущим рабом, созданным по моему образу.

<sup>1</sup>Напомним еще раз притчу об автомате XVIII века (см. выше, глава «Абстракция могущества»): когда иллюзионист, в качестве высшей уловки, делает механическими свои собственные жесты и чуть раздраженной свою собственную внешность, то это опять-таки нужно для того, чтобы возратить спектаклю его смысл — удовольствие от различия между автоматом и человеком. Зрителям было бы слишком не по себе теряться в догадках, который из двух «настоящий». А иллюзионист знал, что совершенство автомата важно, но еще важнее разница между ним и человеком, так что лучше уж пускай машину принимают за человека, а человека за машину.

Теперь понятно, откуда берется тенденция совершенствовать каждую вещь до стадии робота. Именно на этой стадии вещь вполне осуществляет свою бессознательную психологическую функцию. На этой же стадии она и обретает свой конец. Ибо для робота уже невозможна дальнейшая эволюция: *он застыл в своей человекообразности* и в своей функциональной абстрактности, достигаемой любой ценой. Одновременно это и конец активной генитальной сексуальности, ибо сексуальность, спроецированная на робота, оказывается в нем нейтрализована, обезврежена, заклята; фиксируя эту вещь, она и сама в ней фиксируется. Такова нарциссическая абстракция: мир научной фантастики — это мир бесполой.

Робот интересен еще и в ряде других отношений. Поскольку это мифологический предел вещи, то в нем скапливаются все фантазмы, которыми наполнены наши глубинные отношения с окружающей средой.

Робот — это раб, но мотив раба всегда, начиная еще с легенды об ученике чародея, связывался с мотивом *бунта*. В научно-фантастических произведениях нередко происходит, в той или иной форме, восстание роботов; имплицитно же оно подразумевается в них всегда. Робот подобен рабу, он и очень добр и очень коварен; он очень добр, пока его сила в оковах, и очень зол, будучи способен их порвать. А потому человек с полным основанием опасается возрождения той силы, которую он заковал, заключил в свой образ. Сила эта — его собственная сексуальность, обращаясь против него самого и тем пугающая. Освобожденная, раскованная, мятежная сексуальность становится смертельным врагом человека; это и проявляется в том, что роботы нередко и непредсказуемо начинают вести себя «не так», превращаясь в разрушительную силу, или же просто в том, что мы постоянно испытываем тревогу из-за такого всегда возможного превращения. При этом человек оказывается во власти глубинных сил своей собственной психики, сталкивается со своим двойником, наделенным его же собственной энергией, а из преданий мы знаем, что появление двойника означает смерть. В бунте роботов происходит восстание поработанной фаллической энергии, и в этом и состоит смысл их механического

коварства (а равно и в нарушении функциональности окружающей нас среды). Здесь возможны два сюжетных исхода: либо человеку удастся обуздать «дурные» силы, и все возвращается в рамки «добропорядочности», либо воплощенные в роботе силы разрушают сами себя, доводя свой автоматизм до самоубийства. Мотив разладившегося робота и его саморазрушения также распространен в научной фантастике, логически вытекая из мотива его бунта. Читательский интерес питается здесь скрытой в вещах, в Вещи как таковой апокалиптичностью. Соблазнительно даже связать подобный сюжетный поворот с моральным осуждением науки как люциферовского непокорства: техника губит сама себя, и человек возвращается к благостной природе. Такой моральный мотив, безусловно, активно присутствует в фантастических произведениях, но он слишком наивен и одновременно слишком рационален. Мораль никогда никого не фасцинировала, тогда как долгожданный самораспад робота доставляет нам странное удовлетворение. Устойчивая повторяемость такого фантазма ритуального расчленения, где торжествующая функциональность вещи достигает своего предела, обусловлена не столько моральным императивом, сколько некоторым фундаментальным желанием. Мы смакуем здесь зрелище смерти, и если признать, что робот символизирует поработанную сексуальность, то приходится также признать, что его распад доставляет человеку символическое зрелище распада его собственной сексуальности, которую он уничтожает, предварительно подчинив своему образу. Если следовать Фрейдю вплоть до последних выводов, то можно даже предположить, что человек в этих образах взбесившейся техники торжествует грядущее событие своей собственной смерти или, быть может, отрекается от сексуальности, чтобы освободиться от тревоги.

К этому великому сюжету научной фантастики — «самоубийству» или же убийству вещи — подводит нас и такое модное представление, как «хэппенинг» («Событие»), которое можно охарактеризовать как оргиастический сеанс разрушения и унижения вещей, как ритуальное всежожение, где вся пресыщенная цивилизация празднует свой полный упадок и

гибель. В США мода на «хэппенинг» привела к его коммерциализации: там продаются красивые сложные механизмы с зубчатыми колесами, рычагами, передачами и т.д. — настоящие чудеса никчемной функциональности, обладающие свойством после нескольких часов действия внезапно и бесповоротно разваливаться. Люди дарят друг другу такие вещи, и их распад, уничтожение, смерть празднуется дружеским пиром.

Но даже если не заходить столь далеко, в некоторых современных вещах явно воплощен какой-то фатум. Особую роль опять-таки играет здесь автомобиль. В него человек вкладывает всю свою душу — и хорошее и дурное. Он пользуется его услугами, но одновременно принимает и, быть может, даже ожидает от него некую роковую участь, ритуальным воплощением которой стал, например, кинематографический мотив смерти в автомобильной аварии.

## АВАТАРЫ ТЕХНИКИ

Итак, порождаемые техникой функциональные мифологии прослеживаются вплоть до уровня своеобразного фатума, где эта техника, призванная подчинять себе мир, кристаллизуется в своей противоположной, опасной направленности. Достигнув этого пункта, мы должны:

1) По-новому поставить проблему нестойкости вещей, их распада: изначально представая нам как фактор надежности жизни, фактор равновесия, хотя бы невротического, они одновременно постоянно являются и фактором разочарования.

2) Заново рассмотреть имплицитно заложенное в нашем обществе представление о рациональности целей и средств в строе производства и в самом техническом проекте как таковом.

Оба эти аспекта — социоэкономическая система производства и психологическая система проекции — способствуют дисфункциональности, противонацеленности вещей. Необходимо выяснить взаимную обусловленность этих двух систем, их взаимодействие.

Техническое общество живет стойким мифом о непрерывном развитии техники и о нравственном «отставании» от нее людей. Оба аспекта взаимосвязаны: благодаря «стагнации»

нравов технический прогресс получает новый облик, предстает как единственная надежная ценность, как высшая инстанция нашего общества; тем самым получает оправдание и весь строй производства. Под прикрытием морального противоречия уходят, таким образом, от противоречия реально-го, состоящего в том, что современная система производства, работая для реального технологического развития, сама же ему и противится (а тем самым противится и перестройке социальных отношений). Миф об идеальной конвергенции техники, производства и потребления прикрывает собой всевозможные противонацеленности в политике и экономике. Да и вообще, как может система технических средств и вещей гармонически развиваться, в то время как система отношений между производящими их людьми переживает стагнацию или регресс? Люди и техника, потребности и вещи взаимно структурируют друг друга — к лучшему или к худшему. В ареале той или иной данной цивилизации структуры индивида и общества связаны с технико-функциональными особенностями едва ли не универсальным законом. Он действует и в нашей технической цивилизации: техника и вещи страдают от той же порабощенности<sup>TM</sup>, что и люди, — процесс их конкретного структурирования, то есть объективный технический прогресс, страдает от тех же задержек, отклонений и отступлений назад, что и процесс конкретной социализации человеческих отношений, то есть объективный социальный прогресс.

Вещи как бы болеют раком: безудержное размножение в них внеструктурных элементов, сообщающее вещи ее самоуверенность, — это ведь своего рода опухоль. А между тем именно на таких внеструктурных элементах (автоматике, аксессуарах, несущественных различиях) зиждется вся система моды и управляемого потребления<sup>1</sup>. Именно к ним, как к своему завершению, стремится техническая эволюция. В них вещь, изначально перенасыщенная, внешне пышущая здоровьем в своих метаморфозах, истощается в судорожно-броских изменениях формы. По словам Льюиса Мэмфорда («Техника и цивилизация», с. 341), «с точки зрения техники перемены в форме и стиле суть признаки незрелости.

<sup>1</sup>См. ниже, «Модели и серии».

Они знаменуют собой переходный период. Капитализм же<sup>1</sup> сделал этот переходный период постоянным». В качестве примера он приводит тот факт, что в Соединенных Штатах после героической эпохи 1910-1940 годов, когда появились на свет автомобиль, самолет, холодильник, телевизор и т.д., новые изобретения практически прекратились. Вещи улучшались, совершенствовались, по-новому оформлялись — делались привлекательнее, но без структурных нововведений. «Главное препятствие к дальнейшему, более полному развитию машины, — продолжает Мэмфорд, — состоит в том, что вкус и мода связываются с расточительством и коммерческой выгодой» (с. 303). Действительно, с одной стороны, второстепенные усовершенствования вещей, их усложнение и введение новых систем (систем безопасности, престижа) поддерживают в обществе иллюзию «прогресса», скрадывая необходимость более глубоких преобразований (это, так сказать, «реформизм» вещей). С другой стороны, мода, беспорядочно приумножая вторичные системы, является царством случая и вместе с тем бесконечного повторения форм, где, следовательно, и концентрируется максимум коммерческих поисков. Между вертикалью техники и горизонталью прибыли, между непрерывным процессом превосходящих друг друга технических изобретений и замкнутой системой вещей и форм, повторяющихся в интересах производства, существует фундаментальная противопоставленность.

Здесь-то и сказывается то, что вещи призваны служить заменой человеческих отношений. В своей конкретной функции вещь — это разрешение некоей практической проблемы. *В несущественных же своих аспектах это разрешение некоего социального или психологического конфликта.* Именно такова современная «философия» вещи у Эрнста Дихтера, пророка исследований мотивации: она сводится к убеждению, что любое напряжение, любой индивидуальный или коллективный конфликт разрешимы посредством некоей вещи («Стратегия желания», с. 81). Как на каждый день в году есть свой святой — так и для каждой проблемы есть своя вещь;

<sup>1</sup>Безусловно, для целого исторического периода влияние капитализма было здесь решающим. Но с достижением известного уровня технической эволюции и доступности изделий и благ все становится не столь ясно.

главное — в нужный момент изготовить ее и выбросить на рынок. Если Дихтер видит в этом идеальное решение проблем, то Л.Мэмфорд с большим основанием усматривает здесь решение вынужденное и критически рассматривает всю нашу цивилизацию через подобную концепцию вещи и техники как подмены человеческих конфликтов: «Механическая организация зачастую представляет собой временную и дорогостоящую замену настоящей социальной организации или же здоровой биологической адаптации» (с. 244). «В некотором смысле машины санкционируют собой неэффективность общества» (с. 245). «В нашей цивилизации машина отнюдь не является знаком могущества социального строя, но знаменует нередко его бессилие и паралич» (с. 366).

Нелегко определить, во что обходится обществу в целом такое отвлекающее действие техники (рабски зависимой от моды и форсированного потребления) по отношению к реальным конфликтам и потребностям. Эти потери колоссальны. Если обратиться к примеру автомобиля, то сегодня трудно даже представить себе, каким он мог бы стать потрясающим орудием перестройки человеческих отношений, обеспечивая покорение пространства и стимулируя структурное преобразование целого ряда технических процессов; однако он очень скоро оказался отягощен паразитарными функциями престижа, комфорта, бессознательной проекции и т.д., которые затормозили, а затем и вовсе заблокировали развитие его функции человеческого синтеза. Сегодня эта вещь находится в полной стагнации. Все более абстрагируясь от своей социальной функции транспортного средства, все более замыкая эту функцию в рамках архаических пережитков, автомобиль переделывается, перестраивается и преобразается в безумном темпе, но в непреодолимых пределах раз навсегда данной структуры. На стадии автомобиля способна остановиться в своем развитии и целая цивилизация.

Следует разграничивать три уровня, на которых параллельно происходит эволюция:

- техническое структурирование вещи (конвергенция функций, их интеграция, конкретизация, экономия),
- параллельное структурирование мира и природы (победа над пространством, контроль над энергией, моби-

лизация материи; все большая информированность, взаимосо-относительность мира).

— структурирование человеческой практики, индивидуальной и коллективной, в сторону все большей «относительности» и мобильности, открытая интеграция и «экономия» общества аналогично тому, что происходит в передовых технических изделиях. В таком случае приходится констатировать, что при всей несогласованности, связанной с собственной динамикой каждого из этих трех уровней, их развитие по сути синхронно замедляется или же замирает. Техническое изделие, достигнув требуемого результата и застыв на этом уровне (в случае автомобиля это частичная победа над пространством во втором аспекте), в дальнейшем лишь коннотирует эту неподвижную структуру, все более захлестываемую всякого рода субъективными мотивациями (регресс в третьем аспекте). И тогда автомобиль, например, утрачивая свою динамику как технического изделия (регресс в первом аспекте), начинает неподвижно-взаимодополнительно соотноситься с домом: дом и машина составляют замкнутую систему, психически нагруженную условными человеческими значениями, так что машина, вместо того чтобы служить фактором отношений и обмена между людьми, всецело превращается в предмет чистого потребления. «Не только старые технические формы тормозили собой развитие неотехнической экономики, но и новейшие изобретения нередко содействовали тому, чтобы поддерживать, подновлять и стабилизировать структуру устаревшего строя» (Мэмфорд, с. 236). Автомобиль уже не устраняет преграды между людьми — напротив, люди делают эти самые преграды его нагрузкой. Победенное пространство разделяет их еще более непроходимо, чем непобеденное<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>В этом смысле понятно, что и кино и телевидение прошли или проходят мимо своих грандиозных возможностей «переменить жизнь». Как пишет Эдгар Морен («Кино и человек воображаемый», с. 15), «никого не удивляет, что кинематограф с самого своего рождения круто отошел от своих очевидных научно-технических задач, вступил в стихию зрелищ и превратился в «кино»... Бурный подъем «кино» обернулся атрофией таких его потенций, которые могли бы показаться вполне естественными. И далее он показывает, каким образом медлительность технических нововведений в кинематографе (освоение звука, цвета, объемности) связана с его эксплуатацией как потребительского «кино».

## ТЕХНИКА И СИСТЕМА БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО

Следует, однако, задуматься о том, не обусловлена ли изначально эта относительная стагнация форм и технических средств (а в дальнейшем, в главе «Модели и серии», мы убедимся, что такой систематический дефицит чрезвычайно эффективен в плане социальной интеграции) еще и чем-то иным, кроме своекорыстного диктата определенного строя производства, кроме абсолютной инстанции социального отчуждения. Иначе говоря, представляет ли собой недоразвитость вещей «несчастную случайность социальной жизни», по выражению Л. Мэмфорда? (Если бы люди были здесь «ни при чем» и в неполноценности нашей техники был бы повинен один лишь строй производства, то это была бы в самом деле несчастная случайность, некое необъяснимое противоречие, равно как и в обратной ситуации — в буржуазной легенде об «опережающем» развитии техники и «отставании» человеческой морали.) Фактически же никакой случайности здесь нет, и хотя очень большую роль действительно играет здесь систематическая эксплуатация, осуществляемая определенным строем производства (структурно связанным с определенным социальным строем) по отношению к целому обществу с помощью особой системы вещей, — в то же время система эта столь прочна и стабильна, что невозможно не заподозрить некую согласованность между коллективным строем производства и индивидуальным (пусть и бессознательным) строем потребностей; согласованность как тесные отношения негативного сообщничества, как взаимообусловленность между дисфункциональностью социоэкономической системы и глубинным воздействием системы бессознательного, о чем мы уже начали говорить в нашем анализе робота.

Коннотация и персонализация, мода и автоматика сходятся вместе во внеструктурных элементах, которые вовлекаются в систему производства, систематизируясь в своих иррациональных мотивациях; быть может, это оттого, что у человека просто нет ясной воли и возможности преодолеть свои собственные архаические структуры проекции; по крайней мере, в нем есть некое глубинное сопротивление, не да-

ющее поступиться своими субъективно-проективными возможностями и их бесконечной повторяемостью ради какой-то конкретно-структурной эволюции (одновременно технической и социальной); проще говоря, имеется глубинное сопротивление, не дающее поставить рациональный порядок на место случайной целенаправленности наших потребностей. Очевидно, здесь в способе существования вещей, да и самого общества, происходит роковой поворот. Начиная с известного уровня технической эволюции, по мере удовлетворения первичных потребностей у нас, видимо, появляется новая, не менее, а то и более сильная потребность — важна не столько настоящая функциональность вещей, сколько их фантазматическая, аллегорическая, подсознательная «усвояемость». Почему автомобили не получают иных форм (например, с кабиной спереди и обтекаемыми контурами, позволяющими человеку эффективно переживать покрываемое им пространство, чтобы машина не подменяла для него дом или же самого субъекта, одержимого желанием стать металлическим снарядом)? Возможно, потому, что нынешняя форма, создаваемая по абсолютно-недосягаемому образцу гоночных машин с их непомерно длинным капотом, дает возможность спроецировать на себя нечто более существенное и более важное, чем любые достижения в искусстве пространственного перемещения?

Человек, видимо, нуждается в том, чтобы мир был наполнен еще и таким бессознательным дискурсом, а тем самым остановлен в своей эволюции. В этом направлении можно зайти очень далеко. Если внеструктурные элементы, в которых явно кристаллизируются самые стойкие желания человека, представляют собой не просто параллельные функции, усложняющие и дополняющие структуру, но именно нарушения, прорывы функциональной цепи, отклонения от объективно-структурного порядка; если целая цивилизация, как мы видим, отходит тем самым от реального преобразования своих структур и если все это не случайно — позволительно задаться вопросом, не склоняется ли человек, по ту сторону мифа о функциональной расточительности («персонализированном избытии»), фактически скрывающего собою обсессивную озабоченность собственным образом, не склоняется ли он скорее к дисфункциональности, нежели

ко все большей функциональности мира. Быть может, человек сам играет в эту игру дисфункциональных нарушений, в результате которой нас обступают вещи, застывшие в своем росте из-за своих же внешних наростов, не сбывшиеся сами и разочаровывающие нас тем более, чем более они близки нашей личности?

Здесь еще сильнее сказывается то, что чуть выше предстало нам как одно из определяющих качеств вещи, а именно ее способность к подменам; на уровне бессознательных конфликтов, еще с большим основанием, чем на уровне конфликтов социальных или осознанно психологических (о которых идет речь у Э. Дихтера и Л. Мэмфорда), можно утверждать, что применение техники, а проще говоря потребление вещей, играет роль отвлекающего средства и вообразимого решения проблем. Техника может быть действительным опосредованием между людьми и миром; но это путь наибольшего сопротивления. Путь же наименьшего сопротивления заключается в создании системы вещей, выступающей как воображаемое разрешение любых противоречий; в ней происходит, так сказать, короткое замыкание технической системы и системы индивидуальных потребностей, разряжающее энергию и той и другой. Но тогда и не удивительно, что возникающая отсюда система вещей отмечена знаком распада: в этом структурном изъяне всего лишь отражаются те противоречия, формальным разрешением которых является данная система вещей. Будучи индивидуальным или коллективным алиби для тех или иных конфликтов, система вещей неизбежно несет на себе печать нежелания знать эти конфликты.

Но что же это за конфликты? И по отношению к чему составляют они алиби? Человек связал все свое будущее с одновременным осуществлением двух проектов — укрощением внешней природной и внутренней либидинозной энергии; и та и другая переживаются им как роковая угроза. Бессознательная экономика системы вещей представляет собой аппарат проецирования и укрощения (или контроля) либидо с помощью опосредованного воздействия. Достигается двойная выгода: господство над природой и производство жизненных благ. Беда лишь в том, что такая замечательная экономика содержит в себе двойную угрозу для строя человеческой жизни:

1) сексуальность оказывается как бы заколдованной, запертой в строе техники, 2) с другой стороны, этот строй техники искажается в своем развитии под действием конфликтной энергии, которой он нагружен. Эти два члена вступают, таким образом, в неразрешимое противоречие, создают хронический дефект: система вещей, как она функционирует сегодня, содержит в себе в качестве всегда присутствующей возможности *согласие* на подобную регрессию, на соблазн положить конец сексуальности, раз навсегда амортизировать ее в вечно повторяющейся и стремящейся вперед технической эволюции.

На практике строй техники всегда сохраняет некоторую присущую ему динамику, препятствующую бесконечной повторяемости регрессивной системы, которая в совершенном своем состоянии была бы не чем иным, как смертью. Тем не менее ее предпосылки имеются в нашей системе вещей, которая *постоянно испытывает соблазн инволюции, все время уживающийся с шансами на эволюционное движение вперед.*

Такой соблазн инволюции — по сути, инволюции в смерть, избавляющей от страха сексуальности, — в строе техники порой приобретает в высшей степени яркие и резкие формы. Он оказывается при этом поистине трагическим соблазном сделать так, чтобы сам этот строй техники обратился против установившего его человека; чтобы вырвалась наружу фатальная сила этого строя, призванного как раз обуздывать ее; такой процесс однотипен описанному Фрейдом прорыву вытесненной энергии сквозь вытесняющую инстанцию, который приводит в негодность все защитные механизмы. В отличие от постепенной инволюции, сулящей нам безопасность, трагическое связано с головокружительно резким разрешением конфликта между сексуальностью и «я». Головокружение происходит от вторжения тех энергий, что были скованы в технических изделиях как символах господства над миром. Такая противоречивая установка — побеждать рок, одновременно провоцируя его, — отражается и в экономическом строе производства, где непрерывно производятся вещи, но лишь вещи искусственно лишены прочности, частично нефункциональные, обреченные на скорую гибель, то есть система работает на производство вещей, но одновременно и на их разрушение.

Следует уточнить: трагична не сама непрочность вещей и не их гибель. Трагичен *соблазн* этой непрочности и гибели. Этот

соблазн отчасти удовлетворяется тогда, когда вещь перестает нас слушаться, — при том что одновременно такой отказ создает нам помехи и приводит нас в отчаяние. Здесь происходит то же лукаво-головокружительное удовлетворение, которое, как мы видели, проецируется в фантазмы бунта и саморазрушения робота. Вещь мстит за себя. В своем бунте она «персонализируется», но в данном случае — не на благо, а во зло. Нас шокирует и удивляет это ее враждебное преображение, но следует признать, что достаточно быстро развивается и чувство покорности этому бунту как роковому событию, в котором наглядно проявляется приятная нам непрочность вещей. Одиночная техническая неполадка нас злит, зато целый их каскад может вызвать эйфорию. Нам неприятно, если кувшин треснет, зато доставляет удовлетворение, если он разобьется вдребезги. Поломка вещи всегда переживается нами двойственно. *Она подрывает надежность нашего положения, но одновременно и материализует наш постоянный спор с самим собой, который также требует себе удовлетворения.* От зажимки мы ждем, что она сработает, но одновременно думаем — а то и желаем этого, — что она может и не сработать (Э. Дихтер, с. 91). Попробуем представить себе совершенно безотказную вещь — она была бы источником разочарования в плане того спора с самим собой, о котором идет речь; безотказность в конечном счете неизбежно вызывает тревогу. Дело в том, что мир безотказных вещей был бы миром, где окончательно поглощена фатальность, то есть сексуальность. Поэтому малейший знак того, что эта фатальная сила вновь ожила, вызывает в человеке глубинное удовлетворение: в таком просвете на миг оживает сексуальность, пусть даже как сила враждебная (а в подобной ситуации она всегда оказывается таковой), пусть даже ее вторжение знаменует собой неудачу, смерть или разрушение. Заключенное в нас противоречие и разрешается противоречиво — могло ли быть иначе?<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Такова легенда о «пражском студенте», которого преследует материализовавшееся в его двойника отражение в зеркале (в результате сделки с дьяволом). У него нет больше зеркального образа, зато его преследует этот образ, ставший двойником. Однажды, уловив момент, когда этот двойник, как и в исходной сцене, оказался между ним и зеркалом, он стреляет в него и убивает; но убивает он, разумеется, самого себя, поскольку двойник забрал себе его реальность. Перед смертью, однако, он видит в осколках разбитого зеркала свое реальное отражение.

Наша «техническая» цивилизация, в той мере в какой она поддается предвидению на основании американской модели, — это мир одновременно систематичный и непрочный. Система вещей иллюстрирует собой эту систематику непрочности, эфемерности, все более частой повторяемости, все более повтор; систематику удовлетворения и разочарования, ненадежного заклятия реальных конфликтов, угрожающих индивидуальным и социальным отношениям. Благодаря обществу потребления мы можем впервые в нашей истории оказаться перед лицом организованной и необратимой попытки всецело интегрировать общество в раз навсегда данную систему вещей, которая всегда и во всем будет подменять собой открытое взаимодействие природных сил, человеческих потребностей и технических средств; ее движущей силой становится официально предписанная и организованная смертность вещей — грандиозный коллективный «хэппенинг», где в эйфории разрушительства, в ритуальном истреблении вещей и жестов социальная группа торжествует свою собственную смерть<sup>1</sup>. Еще раз повторим: можно считать, что это всего лишь детская болезнь технического общества, относя все эти нарушения роста исключительно на счет дисфункциональности нынешних социальных структур (капиталистического строя производства). В таком случае в дальней перспективе остается шанс превзойти всю эту систему в целом. Но если здесь присутствует нечто иное, чем анархическая целевая установка производства, служащего орудием социальной эксплуатации, если здесь сказываются некоторые глубинные конфликты — сугубо индивидуальные, но отзывающиеся мощным резонансом на коллективном уровне, — тогда надежда на социальную прозрачность потеряна навсегда. Так что же это — трудности роста, переживаемые обществом, которому все-таки суждено жить в лучшем из миров, или организованная регрессия перед лицом неразрешимых конфликтов? Анархия производства или же инстинкт смерти? Что именно вносит расстройство в цивилизацию? — этот вопрос остается открытым.

## D. СОЦИОИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВЕЩЕЙ И ПОТРЕБЛЕНИЯ

---

<sup>1</sup>Это может быть названо потребительским *нигилизмом* Э.Морен).

ким отличиям. Барьеры морали, этикета и языка рушатся, зато в сфере вещей возникают новые барьеры, новые исключительные правила; эта новая классовая или кастовая мораль сумела проникнуть даже в самую бесспорную материальность вещей.

Итак, хотя в наши дни благодаря коду «стэндинга» устанавливается универсальный строй значений, наглядно читаемый и допускающий интенсивную циркуляцию социальных представлений на всех ступенях общества, само общество от этого отнюдь не делается прозрачным. Этот код дает нам лишь иллюзию прозрачности, осознанности социальных связей, за которой по-прежнему скрываются неосознаваемые подлинные структуры производства и социальных отношений. Общество могло бы стать прозрачным лишь в том случае, если бы строй значений был в нем столь же познан, как и строй социальных фактов и структур. Этого не происходит в системе «вещи/реклама», предлагающей нам лишь один код значений — всякий раз недобросовестный и непрозрачный. Кроме того, вызывая в силу своей связности чувство формальной защищенности, он еще и служит для общества лучшим средством распространить свое имманентное и постоянное влияние на всех своих членов.

### **Заключение: к определению понятия «потребление»**

Свой систематический, на разных уровнях, анализ отношений человека с вещами нам хотелось бы завершить определением самого понятия «потребление», потому что именно в нем сходятся все элементы современной практики в данной области.

Действительно, потребление можно считать характерной чертой нашей промышленной цивилизации — но при условии, что мы раз и навсегда освободим это понятие от его привычного значения «процесс удовлетворения потребностей». Потребление — это не пассивное состояние погло-

щения и присвоения, которое противопоставляют активно-му состоянию производства, чтобы уравновесить таким образом две наивных схемы человеческого поведения (и отчуждения). Следует с самого начала заявить, что потребление есть активный модус отношения — не только к вещам, но и к коллективу и ко всему миру, — что в нем осуществляется систематическая деятельность и универсальный отклик на внешние воздействия, что на нем зиждется вся система нашей культуры.

Следует недвусмысленно заявить, что объект потребления составляют не вещи, не материальные товары; они образуют лишь объект потребностей и их удовлетворения. Люди во все времена что-то покупали, чем-то владели, пользовались, совершали траты — но при этом они не «потребляли». «Первобытные» празднества, расточительство феодального сеньора, буржуазное роскошество XIX века — все это не потребление. И пользоваться таким термином применительно к нашему современному обществу мы вправе не потому, что больше и лучше питаемся, получаем больше образов и сообщений, имеем в своем распоряжении больше технических устройств и «гаджетов». Ни объем материальных благ, ни удовлетворимость потребностей сами по себе еще не достаточны для того, чтобы определить понятие потребления; они образуют лишь его предварительное условие.

Потребление — это не материальная практика и не феноменология «изобилия», оно не определяется ни пищей, которую человек ест, ни одеждой, которую носит, ни машиной, в которой ездит, ни речевым или визуальным содержанием образов или сообщений, но лишь тем, как все это организуется в знаковую субстанцию: это *виртуальная целостность всех вещей и сообщений, составляющих отныне более или менее связный дискурс*. Потребление, в той мере в какой это слово вообще имеет смысл, есть *деятельность систематического манипулирования знаками*.

Традиционная вещь-символ (орудия труда, предметы обстановки, сам дом), опосредовавшая собой некое реальное отношение или житейскую ситуацию, несшая в своей

субстанции и форме ясно запечатленную, сознательную или же бессознательную, динамику этого отношения — а стало быть, лишенная произвольности, — такая вещь, будучи связана, пропитана, насыщена коннотацией, но оставаясь живой в силу своей внутренней транзитивности, соотносённости с определенным поступком или жестом человека (коллективным или же индивидуальным), не может потребляться. *Чтобы стать объектом потребления, вещь должна сделаться знаком*, то есть чем-то внеположным тому отношению, которое она отныне лишь обозначает, — *а стало быть, произвольным*, не образующим связной системы с данным конкретным отношением, но обретающим связность, то есть смысл, в своей абстрактно-систематической соотносённости со всеми другими вещами-знаками. Именно тогда она начинает «персонализироваться», включаться в серию и т.д. — то есть потребляться — не в материальности своей, а в своем отличии.

Из такого преобразования вещи, получающей систематический статус знака, вытекает и одновременное изменение человеческих отношений, которые оказываются отношениями потребления, то есть имеют тенденцию «потребляться» (в обоих смыслах глагола *se consommer* — «осуществляться» и «уничтожаться») в вещах и через вещи; последние становятся их обязательным опосредованием, а очень скоро и заменяющим их знаком — *алиби*.

Как мы видим, потребляются не сами вещи, а именно отношения — обозначаемые и отсутствующие, включенные и исключенные одновременно; потребляется *идея отношения* через серию вещей, которая ее проявляет.

Отношение более не переживается — оно абстрагируется и отменяется, потребляясь в вещи-знаке.

Подобный статус отношения/вещи организуется на всех уровнях благодаря строю производства. Реклама постоянно внушает нам, что живое, противоречивое отношение не должно нарушать «рациональный» порядок производства, что оно должно потребляться, как и все остальное. Оно должно «персонализироваться», дабы интегрироваться в этот строй. Перед нами проанализированная Марксом формальная логика товара,

доведенная до конечных выводов: подобно тому как потребности, чувства, культура, знания — все присущие человеку силы интегрируются в строй производства в качестве товаров, материализуются в качестве производительных сил, чтобы пойти на продажу, — так и все желания, замыслы, императивы, все человеческие страсти и отношения сегодня абстрагируются (или материализуются) в знаках и вещах, чтобы сделаться предметами покупки и потребления. Так происходит, например, с семейной парой — ее объективной целью становится потребление вещей, в том числе и тех вещей, которыми прежде символизировались отношения между людьми<sup>1</sup>.

Перечитаем первые страницы романа Жоржа Перека «Вещи» (издательство «Летр нувель», 1965): «Сначала глаз скользит по серому бобриковому ковру вдоль длинного, высокого и узкого коридора. Стены будут сплошь в шкафах из светлого дерева с блестящей медной окантовкой. Три гравюры (...) подведут к кожаной портъере на огромных черного дерева с прожилками кольцах, которые можно будет сдвинуть одним прикосновением... (Потом) будет гостиная: в длину семь метров, в ширину три. Налево, в нише, станет широкий потрепанный диван, обитый черной кожей, его зажмут с двух сторон книжные шкафы из светлой вишни, где книги напиханы как попало. Над диваном всю стену закроет старинная морская карта. По другую сторону низенького столика, над которым будет висеть, оттеняя кожаную портъеру, шелковый молитвенный коврик, прибитый к стене тремя гвоздями с широкими медными шляпками, под прямым углом к первому дивану станет второй, крытый светло-коричневым бархатом, а за ним темно-красная лакированная горка с тремя полками для безделушек. (...) Дальше (...) полки углом с вмонтированным в них проигрывателем, от которого будут видны лишь четыре рычага из гильошированной стали, на полках — коробки с магнитофонными лентами и пластинки...» (с. 12)<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Так, в Соединенных Штатах супруги призывают ежегодно обновлять обручальные кольца и «отмечать» свои отношения подарками и «совместными» покупками.

<sup>2</sup>См.: Ж.Перек. Вещи. — В кн.: Французские повести. М., 1972. С. 201-202. — Прим. перев.

Очевидно, что в этом «интерьере», хоть он и насыщен мягкой ностальгичностью, ничто не обладает символической значимостью. Достаточно сравнить это описание с описанием интерьера у Бальзака, и станет понятно, что здесь в вещах не запечатлено никакое человеческое отношение, — здесь одни лишь знаки, чистые знаки. Ничто не наделено «присутствием» или же историей, зато все богато отсылками — восточными, шотландскими, *early american* и т.д. Во всех этих вещах *есть только единичность* — они абстрактны в своих отличиях (в своем референтном способе существования) и комбинируются именно в силу этой своей абстрактности. Перед нами — мир потребления<sup>1</sup>.

В дальнейшем повествовании становится понятной и функция такой системы вещей/знаков: не символизируя собой какое-либо человеческое отношение, все время пребывая вне его, в «отсылочности», они тем самым описывают неизбежную пустоту отношений, когда оба партнера взаимно не существуют друг для друга. Жером и Сильвия не существуют как супружеская чета; их единственная реальность — это «Жером-и-Сильвия», некое чистое соучастие, которое проступает сквозь обозначающую его систему вещей. Но нельзя и сказать, чтобы вещи механически подменяли собой отсутствующие отношения, заполняли пустоту, — нет, они *описывают* эту пустоту, то место, где должны были бы быть отношения; подобный жест позволяет, не переживая отношения, тем не менее постоянно обозначать его (кроме случаев полной регрессии) как некоторую возможность переживания. Человеческое отношение не увязает в абсолютной позитивности вещей, а опирается на них как на материальные звенья в цепи значений, — другое дело, что эта знаковая конфигурация вещей чаще всего оказывается скудно-схематичной, замкнутой, и в ней лишь бесконечно повторяется *идея отношения*, которое людям не дано пережить. Кожаный диван, проигрыватель, безделушки, нефритовые пепельницы — во всех этих вещах обозначается *идея отношения*, она в них «потребляется», а тем самым и от-

<sup>1</sup>В «интерьере» Ж. Перека мы имеем дело с вещами, которые уже трансцендентны в силу своей модности, а не с «серийными» вещами. В этом интерьере царит тотальное культурное принуждение — своего рода культурный терроризм. Но в самой системе потребления это ничего не меняет.

меняется как реально переживаемое отношение.

Таким образом, потребление определяется как систематическая *тотально идеалистическая практика*, которая далеко выходит за рамки отношений с вещами и межиндивидуальных отношений, распространяясь на все регистры истории, коммуникации и культуры. То есть остается живым стремление к культуре — но в роскошных изданиях и литографиях на стенах столовой *потребляется* одна лишь ее *идея*. Остается живым стремление к революции, но, не актуализируясь на практике, оно потребляется в форме идеи Революции. В качестве идеи Революция и впрямь оказывается вечной и будет вечно потребляема подобно любой другой идее — все, даже самые противоречивые идеи могут ужиться друг с другом в качестве знаков в рамках идеалистической логики потребления. И вот Революция обозначается в комбинаторной терминологии рядом непосредственных терминов, где она дана как уже свершившаяся, где она «потребляется»<sup>1</sup>.

Точно так же и предметы потребления образуют идеалистический словарь знаков, в которых даже сам жизненный проект человека обозначается с призрачной материальностью. Об этом тоже можно прочесть у Перека (с. 15): «Иногда им казалось, что вся их жизнь могла бы гармонически протечь среди таких стен, уставленных книгами, среди предметов, до того обжитых, что, в конце концов, начнет казаться, будто они были созданы такими прекрасными, простыми, приятными и послушными специально для них. Но ни в коем случае они не прикуют себя к дому — иногда они будут пускаться на поиски приключений. И тогда никакая фантазия не покажется им невозможной»<sup>2</sup>. Только все это излагается именно в предположительном наклонении, и вся книга это опровергает: нет больше никакого проекта, есть только вещи, объекты. Вернее сказать, проект не исчез — просто он довольствуется знаковой

<sup>1</sup>Показательна сама этимология: «все потреблено» (*tout est consommé*) значит «все свершено», но также, разумеется, и «все истреблено». Если Революция «потребляется» в форме идеи Революции, то это значит, что тем самым Революция и совершается (формально) и отменяется; то, что здесь дано как реализованное, отныне оказывается не-опосредованно потребимым.

<sup>2</sup>См.: Ж. Перека. Вещи. — Указ. изд. С. 205. — *Прим. перев.*

реализацией через вещь-объект. То есть объект потребления — это как раз и есть *то самое, в чем «смиряется» проект.*

Этим объясняется то, что у *потребления нет пределов.* Если бы оно было тем, чем его наивно считают, — поглощением-пожиранием благ, — то рано или поздно наступало бы пресыщение. Если бы оно относилось к сфере потребностей, то мы должны были бы прийти к удовлетворению. Однако мы знаем, что это не так: людям хочется потреблять все больше и больше. Такое нарастающее потребительство обусловлено не какой-то психологической фатальностью (пьяница будет пить и дальше, и т.п.) и не просто требованием престижа. Потребление именно потому столь неистребимо, что это тотально идеалистическая практика, которая за известным порогом уже не имеет более ничего общего с удовлетворением потребностей или же с принципом реальности. Дело в том, что проект, сообщающий ей динамику, всегда оказывается разочарован подразаемающей его вещью. Получив непосредственное существование в знаке, он переносит свою динамику на бесконечное и систематическое обладание все новыми и новыми потребительскими вещами/знаками. Тогда потребление, чтобы остаться собой, то есть жизненным принципом, должно либо превзойти себя, либо бесконечно повторяться. А сам жизненный проект, будучи раздроблен, разочарован и включен в знаковую систему, вновь и вновь возникает и отменяется в череде вещей. Поэтому мечтать об «умеренном» потреблении или же о создании какой-то нормализующей его сетки потребностей — наивно-абсурдный морализм.

Бесконечно-систематический процесс потребления происходит из несбывшегося императива целостности, лежащего в глубине жизненного проекта. В своей идеальности вещи/знаки эквивалентны друг другу и могут неограниченно умножаться; *они и должны это делать*, дабы ежеминутно восполнять нехватку реальности. Собственно говоря, потребление неистребимо именно потому, что основывается на некотором *дефиците.*

## СОДЕРЖАНИЕ

С. ЗЕНКИЦ, О ПЕРВОЙ КНИГЕ ЖАНА БОДРИЙАРА .....	3
ВВЕДЕНИЕ .....	7
<b>А. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА, ИЛИ ДИСКУРС ВЕЩЕЙ</b>	
<i>I. Структуры расстановки</i>	
ТРАДИЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА .....	18
СОВРЕМЕННАЯ ВЕЩЬ, СВОБОДНАЯ В СВОЕЙ ФУНКЦИИ .....	20
ИНТЕРЬЕР-МОДЕЛЬ .....	21
Корпусные блоки .....	22
Стены и свет .....	25
Освещение .....	25
Зеркала и портреты .....	26
Часы и время .....	28
НА ПУТИ К СОЦИОЛОГИИ РАССТАНОВКИ? .....	29
ЧЕЛОВЕК РАССТАНОВКИ .....	31
<i>II. Структуры среды</i>	
СМЫСЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СРЕДЫ: КРАСКИ .....	35
Традиционная окраска .....	35
«Природная» окраска .....	36
«Функциональная» окраска .....	39
Тепло и холод .....	41
СМЫСЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СРЕДЫ: МАТЕРИАЛ .....	42
Природное и культурное дерево .....	42
Логика среды .....	45
Материал-модель: стекло .....	47
ЧЕЛОВЕК ОТНОШЕНИЙ И СРЕДЫ .....	49
Мягкая мебель .....	50
Окультуренность и цензура .....	52
СМЫСЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СРЕДЫ: ЖЕСТУАЛЬНОСТЬ И ЕЕ ФОРМЫ .....	54
Традиционная жестуальность усилия .....	54
Функциональная жестуальность контроля .....	55
Новое оперативное поле .....	57
Миниатюризация .....	58
СТИЛИЗАЦИЯ — СПОДРУЧНОСТЬ — УПАКОВКА .....	60

Конец символического измерения .....	61
Абстракция могущества .....	63
Функционалистский миф .....	65
Формальная коннотация: крыло автомобиля .....	67
Алиби формы .....	69

### III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

#### ПРИРОДНОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ: ДОМАШНИЙ МИР И АВТОМОБИЛЬ .....	74
---	----

#### В. ВНЕФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА, ИЛИ ДИСКУРС СУБЪЕКТА

##### *I. Маргинальная вещь – старинная вещь*

ЭФФЕКТ СРЕДЫ: ИСТОРИЧНОСТЬ .....	82
СИМВОЛИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ: МИФ О ПЕРВОНАЧАЛЕ .....	83
«ПОДЛИННОСТЬ» .....	85
НЕОКУЛЬТУРНЫЙ СИНДРОМ: РЕСТАВРАЦИЯ .....	86
СИНХРОНИЯ, ДИАХРОНИЯ, АНАХРОНИЯ .....	89
ОБРАТНАЯ ПРОЕКЦИЯ: ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЕДМЕТ У ПЕРВОБЫТНОГО ЧЕЛОВЕКА .....	92
РЫНОК СТАРИНЫ .....	93
КУЛЬТУРНЫЙ НЕОИМПЕРИАЛИЗМ .....	95

##### *II. Маргинальная система: коллекция*

ВЕЩЬ, АБСТРАГИРОВАННАЯ ОТ ФУНКЦИИ .....	96
ПРЕДМЕТ-СТРАСТЬ .....	97
ЛУЧШЕЕ ИЗ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ .....	99
СЕРИЙНАЯ ИГРА .....	101
ОТ КОЛИЧЕСТВА К КАЧЕСТВУ: УНИКАЛЬНАЯ ВЕЩЬ .....	102
ВЕЩИ И ПРИВЫЧКИ: ЧАСЫ .....	104
ВЕЩЬ И ВРЕМЯ: УПРАВЛЯЕМЫЙ ЦИКЛ .....	106
ТАЙМАЯ ВЕЩЬ: РЕВНОСТЬ .....	109
ДЕСТРУКТИРУЕМАЯ ВЕЩЬ: ПЕРВЕРСИЯ .....	111
ОТ СЕРИЙНОЙ МОТИВАЦИИ К МОТИВАЦИИ РЕАЛЬНОЙ ...	115
САМОНАПРАВЛЕННЫЙ ДИСКУРС .....	117

#### С. МЕТА- И ДИСФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА: ГАДЖЕТЫ И РОБОТЫ

«ТЕХНИЧЕСКАЯ» КОННОТАЦИЯ: АВТОМАТИКА .....	120
«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ» ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬ .....	121
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ: ГАДЖЕТ .....	124
ПСЕВДОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: «ШТУКОВИНА» .....	126
МЕТАФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: РОБОТ .....	131
АВАТАРЫ ТЕХНИКИ .....	136
ТЕХНИКА И СИСТЕМА БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО .....	141

#### D. СОЦИОИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВЕЩЕЙ И ПОТРЕБЛЕНИЯ

##### *I. Модели и серии*

ДОИНДУСТРИАЛЬНАЯ ВЕЩЬ И ИНДУСТРИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ .....	148
«ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ» ВЕЩЬ .....	151
Выбор .....	152
Маргинальное отличие .....	153
ИДЕАЛЬНОСТЬ МОДЕЛИ .....	155
ОТ МОДЕЛИ К СЕРИИ .....	157
Технический дефицит .....	157
Дефицит «стиля» .....	159
Классовая рознь .....	161
Привилегия актуальности .....	163
Личность в беде .....	166
Идеология моделей .....	167

##### *II. Кредит*

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАНИНА ПОТРЕБИТЕЛЯ .....	169
ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: НОВАЯ ЭТИКА .....	172
ПРИНУДИТЕЛЬНОСТЬ ПОКУПКИ .....	173
ВОЛШЕБСТВО ПОКУПКИ .....	174
ДВОЙСТВЕННОСТЬ ДОМАШНИХ ВЕЩЕЙ .....	176

### III. Реклама

ДИСКУРС О ВЕЩАХ И ДИСКУРС-ВЕЩЬ .....	177
РЕКЛАМНЫЙ ИМПЕРАТИВ И ИНДИКАТИВ .....	178
ЛОГИКА ДЕДА МОРОЗА .....	179
ИНСТАНЦИЯ МАТЕРИ: КРЕСЛО «ЭРБОРН» .....	181
ФЕСТИВАЛЬ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ .....	186
ДВОЙСТВЕННАЯ ИНСТАНЦИЯ: ОДАРИВАНИЕ И ПОДАВЛЕНИЕ .....	188
ПРЕЗУМПЦИЯ КОЛЛЕКТИВА	
Стиральный порошок «Пакс» .....	193
Рекламный конкурс .....	195
ГАРАП .....	196
НОВЫЙ ГУМАНИЗМ?	
Серийная постановка рефлекса .....	197
Свобода «по недостатку» .....	199
НОВЫЙ ЯЗЫК? .....	202
Структура и членение смыслового поля: марка .....	203
Универсальный код: стэндинг .....	209
<i>Заключение: к определению понятия «потребление» .....</i>	<i>212</i>

Эту и другие книги отечественных и зарубежных авторов Вы можете приобрести в книжных киосках издательства (Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы, центральный вход, часы работы с 9 до 19). Адрес: Москва, ул. Николаямская, д. 1. Метро «Таганская» и «Китай-город», трол. 16, 63, 45. В издательстве открыт отдел книгообмена (с 12 до 17 часов по будням). В обмен на сдаваемые книги посетители могут выбрать интересующие их новые и бумажные издания, а также сделать заказ на редкую книгу. Оценка производится в баллах. Отдел книгообмена работает в помещении издательства по адресу: Москва, ул. Николаямская, д. 4. Тел. 915-3284, 915-3305.

Книга Жана Бодрийяра, как и вообще его творчество, отличается ясностью изложения, парадоксальным остроумием мысли, блеском литературно-эссеистического стиля. В ней новаторски ставятся важнейшие проблемы социологии, философии, психоанализа, семиотики и искусствознания. Для России, с запозданием приобщившейся или приобщающейся к строю общества потребления, эта книга сегодня особенно актуальна, помогая трезво оценить человеческие возможности подобного общества, перспективы личностного самоосуществления живущих в нем людей.

Жан Бодрийяр  
«СИСТЕМА ВЕЩЕЙ»

Перевод и сопроводительная статья С. Н. Зенкина

Подписано в печать 15.09.99  
Формат 84x108/32. Объем 23,38 усл. п.л.  
Тираж 2000 экз. Зак. 383

Издательство «РУДОМИНО» ВГБИЛ им. М. И. Рудомино  
109189, Москва, ул. Николоямская, д. 1  
Лицензия №070082 от 10.XI.96